

Глава XVI

Моя первая остановка была в Филадельфии, я уже много раз посещала этот город с момента ареста в 1893 году и всегда выступала перед еврейской публикой. На этот раз меня пригласили прочитать лекцию на английском для членов нескольких американских организаций. Находясь в Городе братской любви, я остановилась в доме мисс Перл Мак-Лауд, президента Женской либеральной лиги. Я бы предпочла более тёплый приём своей старой подруги Наташи Ноткиной, у которой я чувствовала себя как дома. Однако предполагалось, что квартира мисс Мак-Лауд более доступна для американцев, которые, возможно, захотят со мной встретиться.

Митинги неплохо посещались, но я всё ещё находилась под впечатлением от мучительной сцены с Эдом, и потому моим лекциям недоставало воодушевления. Тем не менее мой приезд в целом нельзя было назвать бесполезным. Я завоевала положение и приобрела много друзей, среди которых была и безумно интересная женщина — Сьюзан Паттен. О ней я слышала ещё от Саши: она была его американской подругой по переписке. Этим и своим прекрасным характером она расположила меня к себе.

В Вашингтоне я выступала перед немецкой свободомыслящей публикой. После лекции я познакомилась с группой Reitzel Freunde⁸⁹, как себя называли читатели газеты Der arme Teufel.

Большинство из них были больше похожи на мясников, чем на идеалистов. Один мужчина, который хвастался, что работал в правительстве Соединённых Штатов, много говорил о красоте в искусстве и литературе — конечно, красота, по его мнению, не могла быть понятна невежественной толпе. Ему не нравилась анархическая идея «сделать всех одинаковыми». «Как может помощник каменщика, например, претендовать на такие же права, как я, образованный человек?» — спросил он меня. Он не мог себе представить, что я серьёзно верю в такое равенство или что в это верит любой другой передовой анархист. Он был уверен, что мы просто используем это как наживку. Он нас вовсе не винил: «Чернь надо заставлять платить».

«Как долго вы читаете Der arme Teufel?» — спросила я. «С первого номера», — гордо заявил он. «И это всё, что вы оттуда вынесли? Что ж, могу сказать, что мой друг Роберт метал бисер перед свиньёй». Мужчина вскочил на ноги и в гневе покинул комнату под громогласный смех остальной компании.

Ещё один «друг» Райцеля представился пивоваром из Цинциннати. Он подошёл ближе и стал говорить о сексе. Он слышал, что я «настоящая сторонница свободной любви» в Соединённых Штатах. Он восхищался тем, что я не только умна, но молода и красива, совсем не похожа на строгий «синий чулок», каким он меня представлял. Он тоже верил в свободную любовь, хотя считал, что большинство мужчин и женщин к этому не готовы,

особенно женщины, которые всегда стараются держаться за мужчину. Но «Эмма Гольдман — это другое дело». Меня воротило от такого бесстыдного и самодовольного поведения. Я отвернулась от него и пошла к себе. Я очень устала и уснула почти мгновенно. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. «Кто там?» — спросила я. «Друг, — послышалось в ответ. — Ты не откроешь?» Это был голос пивовара из Цинциннати. Вскочив с кровати, я закричала как можно громче: «Если вы сейчас же не уйдёте, я разбужу весь дом!» «Пожалуйста, пожалуйста! — умолял он через дверь. — Не нужно сцен. Я женатый человек, у меня взрослые дети. Я думал, ты веришь в свободную любовь». И я услышала, как он поспешил прочь.

«Кто только не использует возвышенные идеалы», — думала я. Правительственный клерк, посмевавшийся ставить себя выше помощника каменщика, и уважаемый столп общества, для которого свободная любовь — всего лишь способ завести тайные интрижки, — оба являются читателями Райцеля, великолепного бунтаря и идеалиста! Их головы и сердца остались бесплодными, как Сахара. Мир, должно быть, полон таких людей, мир, который я решила пробудить. Меня охватило ощущение бесполезности и тягостное чувство изоляции.

По дороге из Вашингтона в Питтсбург непрерывно шёл дождь. Меня пробирало до костей, к тому же я была удручена воспоминаниями о Хоумстеде и Саше. Всякий раз, когда я приезжала в Стальной город, на сердце становилось очень тяжело. Вид пламени, извергающегося из громадных печей, обжигал мне душу.

Моё уныние немного развеялось при виде Карла Нольда и Генри Бауэра, встречавших меня на вокзале. Два товарища освободились из Западной тюрьмы в мае того года (1897). Я раньше не встречала Бауэра, но первую встречу с Карлом, случившуюся в ноябре 1892 года, я помнила. Завязавшаяся в то время дружба усилилась через переписку, когда Карл сидел в тюрьме. Наша нынешняя встреча должна была ещё больше укрепить эту связь. Я была рада снова видеть это милое и жизнерадостное лицо. Тюрьма сделала его более задумчивым, но не подавила любовь к жизни. Бауэр, большой и весёлый, возвышался над нами, как гигант. «Слон и его семья», — сказал он, идя между нами, пока мы с Карлом безуспешно пытались поспевать за его широченными шагами.

В предыдущие визиты в Питтсбург я всегда останавливалась у своего хорошего друга Гарри Гордона и его семьи. Гарри был одним из самых активных наших товарищей, верным и воодушевлённым другом. Миссис Гордон, простая и добросердечная женщина, была сильно ко мне привязана. Она всегда старалась изо всех сил, чтобы сделать моё пребывание у них дома как можно более приятным и удобным, насколько это позволял небольшой доход её мужа. Я обожала бывать у Гордонов и попросила своих спутников отвести меня к ним. Однако Карл и Генри были настроены сначала отметить мой приезд.

В Питтсбурге не было запланировано лекций. Карл и Генри предпринимали всё новые действия, чтобы освободить Сашу: составлялось заявление в Совет по помилованиям, подписанное исключительно рабочими. Я больше не верила в такие меры, но не хотела передавать свой пессимизм друзьям. Они оба были в хорошем настроении. Они заказали небольшой ужин в ресторане поблизости, в комнате только для нас, где никто не мог помешать. Первый бокал мы выпили стоя, молча. За Сашу. Его дух витал над нами и

сближал нас в нашей общей цели. Потом Карл и Генри пересказали мне свои тюремные впечатления и поведали о годах, проведённых с Сашей под одной крышей. Они вынесли на свободу послание для меня, которое боялись доверить в письмах: Саша замышлял побег.

У него был совершенный план, у меня даже перехватило дыхание. Я размышляла: даже если ему удастся выбраться из тюрьмы, куда он пойдёт? В Америке ему придётся скрываться до конца жизни. За ним будут охотиться и в конце концов схватят. В России всё было бы по-другому. Подобные побеги там происходили не раз. Но в России есть революционный дух, и политический заключённый в глазах рабочих и крестьян предстаёт преследуемым страдальцем; он мог бы рассчитывать на их сочувствие и помощь. В Соединённых Штатах, наоборот, девять десятых рабочих сами бы сразу же пустились в погоню за Сашей. Нольд и Бауэр согласились со мной, но просили не писать о своих опасениях Саше. Он достиг предела стойкости: отказывали глаза, здоровье было подорвано, и он опять помышлял о самоубийстве. Надежда на побег и разработка плана поддерживала его воинственный дух. Мы не должны его отговаривать, но, возможно, стоит попросить его подождать, пока все законные способы освобождения не будут исчерпаны.

Мы так увлеклись разговором, что потеряли чувство времени. С удивлением мы обнаружили, что уже далеко за полночь. Мои спутники считали, что к Гордонам идти слишком поздно, и предложили отвести меня в небольшой отель, который держал читатель *Der arme Teufel*. По дороге я рассказала им о своём опыте общения с вашингтонскими «друзьями Райцеля», но Бауэр заверил меня, что мужчина из питтбургского отеля не такой. Он действительно оказался очень дружелюбным. «Безусловно, в моём отеле найдётся комната для Эммы Гольдман», — радушно сказал он. Мы уже собирались подниматься по лестнице, как до нас донёсся истеричный женский крик. «Комната для Эммы Гольдман? — кричала она. — Это уважаемый отель, здесь не место этой бесстыжей особе, любовнице заключённого!» «Пойдёмте отсюда», — попросила я друзей. Прежде чем мы тронулись с места, муж-подкаблучник стукнул кулаком по стойке, решив разобраться, кто главный. «Скажи мне, Ксантиппа! — орал он. — Я или не я хозяин в этом доме?» Кинув в мою сторону уничтожающий взгляд, женщина вылетела из комнаты. Хозяин успокоился и снова подобрел. Он заявил, что не может отпустить меня в такую ужасную погоду, и я должна остаться хотя бы на ночь. Но с меня было довольно, и мы ушли.

«Почему бы не пойти в моё логово?» — предложил Карл. Они с женой и маленьким ребёнком снимают одну комнату и кухню и будут рады разделить её со мной. Милый, гостеприимный Карл не подозревал о том ужасе, который я испытывала от визитов в чужой дом без приглашения. Но я очень устала и не хотела обижать Карла. «Я пойду за тобой, куда скажешь, Каролус, даже в ад, — сказала я, — только пошли поскорее».

Наконец, мы дошли до дома Нольда в Аллегени; Бауэр тоже пошёл домой. Дверь открылась в сумрачную комнату. Нас встретила немного растрёпанная крепкая молодая женщина, Карл нас представил. Мне показалось, что ей не понравилось моё вторжение. Жилище было маленькое, в нём стояла только одна кровать, в которой спал ребёнок. Я вопросительно посмотрела на Карла. «Всё в порядке, Эмма, — сказал он, — мы с Нэлли поспим на полу, а ты ляжешь на кровать с ребёнком». Я медлила, намереваясь уйти, но дождь лил как из ведра. Я повернулась к женщине, чтобы извиниться за неудобства, которые я причинила, но она не

стала слушать; она молча ушла на кухню, закрыв за собой дверь. Полуодетая, я легла рядом с мальчиком и сразу же уснула. Меня разбудил чей-то крик: «Он меня убивает! Помогите! Полиция!» В комнате стояла крошечная тьма. Я в ужасе вскочила, не понимая, что происходит. На ощупь нашла стол и спички. Когда я зажгла свет, то увидела два тела, катающиеся по полу в драке. Женщина прижимала Карла коленями и старалась добраться до его шеи, одновременно призывая полицию. Карл отбивался от её рук и прилагал все усилия, чтобы высвободиться. Никогда я не видела более отвратительного зрелища. Я оттащила женщину от Карла, схватила свои вещи и выбежала на улицу прежде, чем кто-то из них пришёл в себя. В смятении я побежала под потоками ливня к Генри, подняла его с постели и рассказала, что случилось. Он сразу же пошёл со мной искать отель. Карл вылетел из дома вслед за мной, и мы втроём направились под проливным дождём в Питтсбург, поскольку все заведения в Аллегени были уже закрыты в такой поздний час. Мы обошли несколько небольших отелей, но нам везде отказали, несомненно, потому что я была очень мокрой и выглядела неприлично без чемодана, который забыла у Карла. Было уже почти утро, когда мы наконец нашли маленький отель, который принял меня.

С дрожащими коленями и стучащими зубами, я забралась в постель и натянула на голову одеяло, чтобы спрятаться от гнусности жизни. Но я напрасно пыталась забыться во сне. Тёмные тени, казалось, окружали меня со всех сторон. Зловещие стены тюрьмы, в которой содержался Саша, годы его страданий, мои собственные дни в заключении — всё смешалось в насмешливом оскале темноты и отчаяния. Но где-то трепетал слабо мерцающий свет. Я знала о нём, я его узнала — он исходил от Эда. Мысль о нашей любви, о нашем доме на мгновение пронзила сумрак. Я протянула дрожащие руки, но они нащупали только пустое место, пустое и холодное, как моё сердце.

Через три дня я приехала в Детройт. Привлекательность этого города для меня была связана с Робертом Райцелем. Я была очарована его остроумием и бесподобным слогом с того момента, как стала читать его газету. Его храбрая защита чикагских мучеников и смелые усилия по спасению их жизней создали впечатление о нём, как о непоколебимом бунтаре и борце. Моё представление подкреплялось и его отношением к Саше. В то время как Мост, зная Сашу и его революционный запал, оклеветал его и умалял значение его поступка, Райцель возвышал Сашу и его аттентат. Статья Райцеля «Im Hochsommer fiel ein Schuss»⁹⁰ волновала, она была трогательной данью уважения нашему храброму парню. Это сильно сблизило меня с Райцелем, и я очень хотела познакомиться с ним лично.

С тех пор, как я впервые встретила редактора *Der arme Teufel* во время его визита в Нью-Йорк, прошло почти пять лет. Воспоминания о тех событиях живо предстали передо мной. Был поздний вечер, я сидела за швейной машинкой, как вдруг услышала громкий стук в оконные ставни. «Впустите странствующих рыцарей!» — прогремел бас Юстуса. Рядом с ним стоял мужчина, почти такой же высокий и широкоплечий, как он сам, в котором я сразу узнала Роберта Райцеля. Прежде чем я успела поздороваться, он игриво стал меня бранить. «Хорошенькая ты анархистка! — громогласно произнёс он. — Ты выступаешь за необходимость отдыха, а сама работаешь дольше рабыни. Мы пришли разорвать твои цепи, мы заберём тебя с собой, даже если придётся применить силу. Марш! Малышка, собирайся! Выходи сюда, раз ты не слишком рвёшься пригласить нас в свои девичьи покои». Нежданные гости стояли, освещённые светом фонаря. На Райцеле не было шляпы. Копна

взъерошенных светлых волос, уже значительно поседевших, закрывала лоб. Он выглядел большим и сильным, даже моложе Юстуса. Обеими руками он ухватился за подоконник, а глазами пылливо изучал моё лицо. «Так каков приговор? — воскликнул он. — Я принят?» «А я?» — спросила я в ответ. «Ты уже давно получила одобрение, — ответил он, — а я пришёл наградить тебя, предложить себя в качестве твоего рыцаря».

Вскоре я уже шагала между двумя мужчинами по направлению к дому Юстуса. Там нас встретили весёлыми ура и песней «Hoch soll er leben»⁹¹, а также криками принести больше вина. Юстус со своей обычной обходительностью засучил рукава, зашёл за стойку и настоял на том, чтобы исполнять роль хозяина. Роберт галантно предложил взять его под руку и повёл меня во главу стола. Пока мы шли через проход, Юстус исполнял свадебный марш из «Лоэнгрина». Напев подхватили все мужчины, и у них оказались прекрасные голоса.

Роберт был душой компании. Его юмор был искромётнее вина, которое свободно лилось в бокалы всех присутствующих. Количество выпитого им превышало даже способность Моста в этом отношении; и чем больше он пил, тем красноречивее становился. Его истории, яркие и забавные, лились нескончаемым потоком. Он не знал усталости. Ещё долго после того, как большинство гостей притихли, мой рыцарь всё пел и говорил о жизни и любви.

Уже почти рассвело, когда я ступила на улицу, держа Роберта под руку. Меня охватило страстное желание обнять очаровательного мужчину, идущего рядом со мной, такого красивого телом и душой. Я была уверена, что его тоже сильно влекло ко мне; он показывал это весь вечер каждым взглядом и прикосновением. Когда мы шли, я чувствовала волнение от страстного желания. Куда мы можем пойти? Эта мысль промелькнула у меня в голове, когда я прижалась к нему сильнее с возрастающим возбуждением, ожидая и безумно надеясь, что он что-то предложит.

«А Саша? — внезапно спросил он. — Ты часто получаешь вести от нашего прекрасного парня?» Очарование как рукой сняло. Я почувствовала, как меня снова вытолкнули в мир страдания и вражды. До конца прогулки мы говорили о Саше и его поступке, об отношении Моста и его страшных последствиях. Сейчас Роберт был другой; он стал бунтарём и борцом против несправедливости.

У двери он заключил меня в объятия и прошептал, тяжело дыша: «Я хочу тебя! Давай забудем о невзрачности жизни». Я мягко освободилась от объятий. «Слишком поздно, дорогой, — ответила я. — Таинственные голоса ночи утихли, наступило неблагозвучие дня». Он понял. Чувственно глядя мне в глаза, он сказал: «Это лишь начало нашей дружбы, моя храбрая Эмма. Мы скоро вновь встретимся в Детройте». Я распахнула окно и наблюдала за ритмичными движениями его хорошо сложенного тела, пока он не исчез за углом. После чего я вернулась к жизни и к своей машинке.

Через год до меня дошли новости о болезни Райцеля. Он страдал туберкулёзом позвоночника, что вызвало паралич нижних конечностей. Он был прикован к постели, как Гейне, которым он так восхищался и на которого в какой-то мере был похож духовно и эмоционально. Но даже на своём матрасе-могиле Роберт оставался неукротим. Каждая написанная им строчка призывала к свободе и борьбе. Из постели он убедил Центральный

рабочий союз города организовать моё выступление на годовщину 11 ноября. «Приезжай на пару дней раньше, — писал он мне, — чтобы мы смогли восстановить дружбу прошлых дней, когда я был ещё молод».

Я приехала в Детройт в день митинга, вечером, и меня встретил Мартин Дрешер, чьи трогательные поэмы часто появлялись в *Der arme Teufel*. К моему изумлению и удивлению толпы на вокзале, Дрешер, высокий и неуклюжий, встал передо мной на колени, протянул букет красных роз и произнёс следующее: «От вашего рыцаря, моя королева, с неумирающей любовью». «А кто же этот рыцарь?» — спросила я. «Роберт, конечно! Кто ещё осмелился бы послать свою любовь королеве анархистов?» Толпа засмеялась, но преклонённый предо мной мужчина ничуть не смутился. Чтобы спасти его от простуды (на земле лежал снег), я протянула руку и сказала: «А теперь, вассал, отведи меня в мой замок». Дрешер поднялся, низко поклонился, подал руку и торжественно повёл меня к извозчику. «В Рэндольф Отель!» — скомандовал он. По приезде мы встретили десяток ожидающих нас друзей Роберта. Сам хозяин был одним из поклонников *Der arme Teufel*. «Моя лучшая комната и вина в вашем распоряжении», — заявил он. Я знала, что внимательность и забота Роберта подготовили почву и обеспечили мне благодушие и гостеприимство его круга.

Тернер-Холл был заполнен до отказа, а публика соответствовала духу вечера. Большую торжественность событию добавил детский хор и великолепное чтение революционной поэмы Мартином Дрешером. Я должна была выступать по-немецки. Влияние, которое оказала на меня чикагская трагедия, не поблекло с годами. Тем вечером всё казалось ещё более трогательным, возможно, из-за близости Роберта Райцеля, который знал и любил наших чикагских мучеников, боролся за них, а сейчас сам медленно умирал. Память о 1887 годе ожила, вспоминая об их жертвенной смерти, я чувствовала душевный подъём, надежду и желание жить.

В конце митинга меня снова вызвали на трибуну, чтобы я получила огромный букет красных гвоздик из рук пятилетней девочки с золотыми волосами, которая сама была меньше букета. Я прижала ребёнка к груди и унесла её и букет с собой.

Позже вечером я познакомилась с Джо Лабади, выдающимся анархо-индивидуалистом колоритной внешности, который представил мне преподобного доктора Г. С. Мак-Кауэна. Оба сожалели, что я говорила не на английском. «Я пришёл специально, чтобы послушать вас», — сообщил мне доктор Мак-Кауэн, на что Джо, как все ласково называли Лабади, отметил: «А почему бы вам не предложить мисс Гольдман свою кафедру для проповедей? Тогда сможете услышать Красную Эмму на английском». «Хорошая мысль! — ответил священник. — Но мисс Гольдман высказывается против церквей, разве вы станете выступать в одной из них?» «Я готова выступить хоть в аду, — сказала я, — если дьявол не будет дёргать меня за юбки». «Хорошо! — воскликнул он. — Вы выступите в моей церкви, и никто не станет дёргать вас за юбки или ограничивать вас в выражениях». Мы договорились, что моя лекция будет на тему анархизма, потому что именно о нём большинство людей почти ничего не знают.

В цветах от моего «рыцаря» обнаружилась записка с просьбой навестить его в любое время после митинга, поскольку он не будет спать. Казалось странным, что больной человек так поздно бодрствует, но Дрешер уверил меня, что Роберт лучше чувствует себя после заката. Его дом располагался в конце улицы, а окна выходили на большое открытое пространство. Роберт назвал его «Luginsland»⁹²; это единственное, на что он смотрел в последние три с половиной года. Однако в своих мечтах, глубоких и пронизательных, он бродил по далёким землям и краям, собирая всё их культурное богатство. Яркий свет, льющийся из его окна, виднелся издалека; из-за него дом напоминал мне маяк, в котором Роберт Райцель был зрителем. Изнутри доносились песни и смех. Войдя в комнату Райцеля, я обнаружила, что она наполнена людьми; дым был такой густой, что скрывал Роберта из вида и затуманивал лица присутствующих. Он радостно крикнул: «Добро пожаловать в наше убежище! Добро пожаловать в логово твоего восторженного рыцаря!» Роберт в широко распахнутой на груди белой рубашке сидел на кровати, поддерживаемый горой подушек. Кроме пепельного цвета лица, разросшейся седины и тонких прозрачных рук, ничего не выдавало его болезнь. Только глаза говорили о муках, которые он испытывал. Они больше не светились беззаботностью. Скрепя сердце я обняла его, прижав его красивую голову к себе. «Так по-матерински? — возразил он. — Ты разве не поцелуешь своего рыцаря?» «Конечно», — запинаясь, пробормотала я.

Я почти забыла о других присутствующих в комнате, которым Роберт стал меня представлять как «непорочную женщину социальной революции». «Взгляните на неё! — воскликнул он. — Взгляните на неё: разве она похожа на монстра, каким её рисуют газетчики, на неистовую гетеру⁹³? Посмотрите на её чёрное платье и белый воротничок, строгий и пристойный, почти как у монашки». Он меня смущал, и мне становилось неловко. «Ты меня расхваливаешь, словно лошадь, которую хочешь продать», — наконец возразила я. Это его несколько не остановило. «Разве я не сказал, что ты строгая и пристойная? — триумфально заявил он. — Ты не соответствуешь своей репутации. Налейте ей вина! — крикнул он. — Выпьем за нашу невесту Господню!» Мужчины обступили кровать Роберта со стаканами в руках. Он осушил свой до дна и запустил его в стену. «Теперь Эмма одна из нас. Пакт заключён: мы будем верны ей до последнего вздоха!»

Пересказ митинга и моей речи опередил меня на пути к Райцелю, потому что управляющий его газетой принёс блистательный репортаж. Когда я упомянула о приглашении Мак-Кауэна, Роберт обрадовался. Он знал преподобного доктора, которого считал редким исключением в «обличье спасителя душ». Я рассказала Роберту о своём друге с Блэквелл-Айленд, молодом священнике, о том, какой он был понимающий и одухотворённый. «Жаль, что ты его встретила в тюрьме, — дразнил меня Роберт, — иначе он мог бы оказаться пылким любовником». Я была уверена, что не смогла бы полюбить священника. «Чепуха, дорогая, любовь не зависит от идей, — ответил он. — Я влюблялся в девушек в каждом городе и деревне, и они не были даже близко так интересны, каким кажется твой священник. Любовь не имеет ничего общего с „измами“, и ты это поймёшь, когда повзрослеешь». Напрасно я настаивала, что всё об этом знаю. Я не ребёнок, мне уже почти двадцать девять. Я была уверена, что никогда не влюблюсь в того, кто не разделяет мои убеждения.

На следующее утро в отеле меня разбудило сообщение, что десяток журналистов дожидаются меня, чтобы взять интервью. Им не терпелось написать о моей будущей речи в церкви доктора Мак-Кауэна. Мне показали утренние газеты с броскими заголовками: «Эмма проявляет материнский инстинкт», «Пропагандистка свободной любви в церкви Детройта», «Красная Эмма завоёвывает сердце Мак-Кауэна», «Конгрегационалистская церковь превратится в рассадник анархии и свободной любви».

Ещё несколько следующих дней передовицы всех газет в Детройте рассказывали о надвигающемся святотатстве в церкви и грядущем разращении паствы Красной Эммой. Статьи о прихожанах, угрожающих выйти из церкви, и о комитетах, осаждающих бедного доктора Мак-Кауэна, следовали одна за другой. «Для него это станет концом, — сказала я Райцелю, — и я не хочу быть тому причиной». Но Роберт считал, что этот мужчина знает, что делает; единственный выход для него — стоять на своём, лишь бы доказать свою независимость в церкви. «В любом случае мне нужно предложить отменить выступление, — решила я, — чтобы дать Мак-Кауэну возможность отозвать своё приглашение, если он этого хочет». Мы послали друга к священнику, но тот ответил, что будет придерживаться плана, несмотря ни на что. «Церковь, которая отказывает в праве самовыражения самому непопулярному человеку или мировоззрению, для меня не существует, — сказал он. — Не стоит опасаться последствий для меня».

Преподобный доктор Мак-Кауэн председательствовал в молитвенном доме. Он изложил собственную позицию в короткой речи, которую зачитал с подготовленного листка. Он заявил, что не является анархистом; он никогда об этом не задумывался и очень мало знает об анархизме. По этой причине он посетил Тернер-Холл вечером 11 ноября. К сожалению, Эмма Гольдман говорила по-немецки, и потому, когда ему предложили послушать её по-английски со своей кафедры, он сразу же согласился. Он считал, что члены его церкви будут рады послушать женщину, которую годами преследуют как «врага народа». Он верил, что, будучи хорошими христианами, они отнесутся ко мне с благожелательностью. Затем он освободил место за кафедрой для меня.

Я решила строго придерживаться экономической стороны анархизма и насколько возможно избегать темы религии и проблемы полов. Я считала, что обязана сделать это для человека, который совершил такой смелый поступок. По крайней мере, его прихожане не смогут сказать, что я использовала молитвенный дом, чтобы опорочить их Бога или подорвать святой институт брака. Мне это удалось лучше, чем я ожидала. Мою лекцию, которая длилась час, слушали без прерываний и в конце горячо аплодировали. «Мы выиграли!» — прошептал мне доктор Мак-Кауэн, когда я села.

Он рано радовался. Не успели стихнуть аплодисменты, как поднялась пожилая, воинственно настроенная женщина. «Господин председатель, — допытывалась она, — а мисс Гольдман верит в Бога или нет?» За ней поднялась ещё одна: «Хочет ли докладчица смерти всех правителей?» Потом на ноги вскочил маленький, тощий мужчина и воскликнул тонким голосом: «Мисс Гольдман! Вы приверженица свободной любви, не так ли? Так вот, а ваша система не закончится борделями на каждом углу?»

«Мне придётся ответить этим людям без обиняков», — сказала я священнику. «Пусть будет так», — ответил он. «Дамы и господа! — начала я. — Я пришла сюда, стараясь насколько возможно не задевать ваши чувства. Я намеревалась рассмотреть только основной вопрос экономики, который определяет нашу жизнь от колыбели до могилы, независимо от религиозных или моральных убеждений. Сейчас я вижу, что это было ошибкой. Начиная борьбу, обид не избежать. Вот мои ответы: я не верю в Бога, потому что я верю в человека. Как бы человек ни ошибался, он уже тысячу лет пытается исправить то, что натворил ваш Бог». Публика пришла в бешенство. «Богохульство! Еретичка! Грешница!» — кричала женщина. «Остановите её! Выгоните её!»

Когда восстановился порядок, я продолжила: «Что касается убийства правителей, всё полностью зависит от позиции правителя. Если это русский царь, я с полной уверенностью отправила бы его туда, где ему и следует быть. Если правитель слабый, вроде американского президента, едва ли он стоит каких-то усилий. Однако есть некоторые претенденты, которых я бы убила при любых обстоятельствах. Это Невежество, Идолопоклонство и Узколобость — самые низкие и деспотичные властители мира. Что касается джентльмена, который спросил, не появится ли от свободной любви больше борделей, мой ответ такой: они все опустеют, если мужчины будущего будут выглядеть, как вы».

Наступил крошечный ад. Напрасно председатель пытался призывать к порядку. Люди запрыгивали на скамейки, размахивали шляпами, кричали и не уходили из церкви, пока не отключили свет.

На следующее утро большинство газет написали, что митинг в молитвенном доме был позорным спектаклем. Все сошлись на полном осуждении доктора Мак-Кауэна за то, что он позволил мне выступить. Даже известный агностик Роберт Ингерсолл вторил этому хору. «Думаю, что все анархисты сумасшедшие, в том числе Эмма Гольдман, — утверждал он. — Я также полагаю, что преподобный доктор Мак-Кауэн — великодушный человек, он не побоялся организовать лекцию у себя в церкви. Однако безумного мужчину или женщину неправильно приглашать для выступления перед любым собранием людей». Доктор Мак-Кауэн оставил церковь. «Я еду в город шахтёров, — сказал он мне. — Уверен, что они намного больше будут ценить мою работу». Я не сомневалась, что так и есть.

Переписка с Эдом после моего отъезда из Нью-Йорка была дружелюбной, но сдержанной. Добравшись до Детройта, я получила от него длинное письмо, написанное в старой любящей манере. Он не упоминал нашу последнюю сцену. Он писал, что с нетерпением ждёт моего возвращения и надеется увидеть меня до праздников. «Когда твоя любимая замужем за общественной жизнью, приходится учиться быть *genügsam*⁹⁴», — говорилось в письме. Я не могла представить, чтобы Эд был *genügsam*, но понимала, что он пытается удовлетворить мои потребности. Я любила Эда и хотела к нему, но была настроена решительно продолжать свою работу. Однако я очень скучала по нему и его очарованию, которое не переставало привлекать меня. Я послала ему телеграмму, в которой сообщила, что собираюсь навестить сестру Елену и буду дома через неделю.

Не считая короткого визита после моего освобождения, я не была в Рочестере с 1894 года. Казалось, прошла вечность — так много случилось в моей жизни. Изменения произошли и в достатке моей любимой сестры Елены. Семейство Хохштайнов теперь занимало более уютную квартиру в маленьком домике с небольшим участком земли. Их пароходное агентство, хоть и приносило небольшую прибыль, всё же улучшило их положение. Елена по-прежнему несла основное бремя; дети нуждались в ней как никогда раньше, агентство тоже. Большую часть клиентов составляли литовские и латышские крестьяне, которые занимались самым тяжёлым трудом в Соединённых Штатах. Заработок у них был маленький, и тем не менее им удавалось посылать деньги своим семьям и перевозить их в Америку. Бедность и работа на износ сделали их глупыми и подозрительными, и, чтобы с ними общаться, нужны были такт и терпение. Мой зять Яков, обычно чрезвычайно сдержанный и тихий, часто выходил из себя, сталкиваясь с их глупостью. Если бы не Елена, большинство клиентов обратились бы к предпринимателю получше Якова Хохштайна, учёного. Она знала, как улаживать сложные ситуации. Она сочувствовала этим рабам заработной платы и понимала их психологию. Она не просто продавала им билеты и пересылала деньги — она входила в их положение, их безуспешную жизнь. Она писала за них письма домой и помогала разрешать разные трудности. И не они одни приходили к Елене за поддержкой и помощью. Почти весь квартал приносил к ней свои проблемы. Внимательно слушая чужие печальные истории, сама она никогда не жаловалась, никогда не сокрушалась о своих неоправданных надеждах, мечтах и желаниях молодости. Я осознала, какая сила затерялась в этом редком создании: великая натура была заточена в слишком тесном теле.

В день приезда мне не удалось побыть с Еленой наедине. Вечером, когда дети уже спали, а контора закрылась, мы смогли поговорить. Она не совала нос в мои дела, всё, что я говорила, воспринимала с пониманием и любовью. Сама рассказывала в основном о детях, своих или Лининых, и о тяжёлой жизни наших родителей. Мне были хорошо известны причины, по которым она постоянно говорила о трудностях отца. Она старалась сблизить нас и содействовать нашему взаимопониманию. Она очень страдала из-за нашей вражды, которая во мне развилась в ненависть. Тремя годами ранее она пришла в ужас от ответа, который я выслала ей на сообщение о том, что отец был на грани смерти. Ему сделали опасную операцию на горле, и Елена призывала меня побыть с ним. «Ему давно стоило умереть», — телеграфировала я в ответ. С тех пор она неоднократно пыталась изменить моё отношение к человеку, чья жестокость испортила детство всем нам.

Память о нашем мрачном прошлом сделала Елену добрее и великодушнее. Её прекрасная душа и мои внутренние изменения постепенно излечили меня от обиды на отца. Я поняла, что невежество, а не жестокость заставляет родителей совершать ужасные вещи со своими беспомощными детьми. Во время своего короткого пребывания в Рочестере в 1894 году я впервые за пять лет увидела отца. Я всё ещё чувствовала отчуждение, но уже не враждебность. В тот раз я обнаружила отца физически сломленным, он казался просто тенью того сильного и энергичного человека, каким когда-то был. Его состояние постоянно ухудшалось. Десять часов работы в мастерской на сухом пайке разрушали и без того ослабленное здоровье, а нервное состояние усугублялось насмешками и издевательствами, которые ему приходилось сносить. Он был единственным евреем, мужчиной под пятьдесят, иностранцем, который не знал языка этой страны. Большинство молодых людей, которые

работали с ним, тоже происходили из иностранных семей, но они переняли худшие черты американцев, оставив без внимания хорошие. Это были грубые, неотёсанные и бессердечные люди. Они упражнялись в остроумии, которое применяли на «жидах». Неоднократно они до такой степени досаждали и изводили отца, что он падал в обморок. Его приносили домой, а на завтра он заставлял себя идти обратно. Он не мог позволить себе потерять работу, которая приносила ему десять долларов в неделю.

При виде отца, такого больного и измотанного, исчезли остатки моей враждебности. Я начала считать его одним из массы эксплуатируемых и поработощённых людей, ради которых я жила и работала.

В разговорах Елена всегда уверяла, что жестокость отца в молодости была вызвана его исключительной энергией, которая не могла найти соответствующий выход в таком небольшом городке, как Попеляны. Он был амбициозен, мечтал о большом городе и больших делах, которые он там совершит. Крестьяне влачили жалкое существование на своей земле, но большинство евреев, которым была закрыта дорога почти в любую профессию, жили за счёт крестьян. Отец был слишком честен, чтобы использовать подобные методы, а его гордость страдала из-за ежедневных унижений от чиновников, с которыми ему приходилось иметь дело. Несостоятельность в жизни, отсутствие возможности использовать свои способности ожесточили его и сделали злобным и суровым по отношению к себе.

Годы столкновения с жизнью народа, с жертвами общества в тюрьме и за её пределами, а также обширное чтение открыли мне обезличивающее следствие неверно направленной энергии. Неоднократно я видела людей, начинавших жизнь полными амбиций и надежд, которые впоследствии разрушало враждебное окружение. Зачастую они становились злопамятными и беспощадными. Понимание, которое далось мне путём борьбы, пришло к моей сестре через её впечатлительную натуру и необычайную интуицию. Она стала мудрой, не успев постигнуть жизни.

В этот визит я часто виделась с Линой и её семьёй. У неё было уже четверо детей, на подходе был пятый. Её измотали частые роды и попытки свести концы с концами. Единственной радостью Лины были дети. Самой прекрасной из них была малышка Стелла, мой лучик света в сером Рочестере. Ей уже исполнилось десять, и она была умна, чувствительна и полна приукрашенных фантазий о своей Tante Emma⁹⁵, как она меня называла. После моего предыдущего визита Стелла начала мне писать, причудливо и взбалмошно изливая желания своей молодой души. Суровость её отца и то, что он отдавал предпочтение младшей сестре, было огромной и насущной проблемой для этого чувствительного ребёнка. Стелле доставляло огромные страдания то, что она делила одну кровать с сестрой. Родители не терпели «подобных капризов», тем более что они не могли себе позволить больше места. Но я очень хорошо понимала Стеллу: её трагедия повторяла то, что я сама испытывала в её возрасте. Я была рада, что рядом с малышкой находилась Елена, которой она могла рассказать о своих горестях, и что у неё оставалась потребность поделиться переживаниями со мной. «Ненавижу людей, которые плохо относятся к моей Tante Emma, — писала Стелла, когда ей едва исполнилось семь. — Когда я вырасту, буду её защищать».

Встречалась я и с братом Егором. До четырнадцати лет он, как большинство американских мальчишек, был грубым и диким. Он любил Елену за её привязанность к нему. Я была просто сестрой, как Лина, — ничего особенного. Но во время визита в 1894 году, кажется, мне удалось вызвать в нём более глубокие чувства. С тех пор он, как и Стелла, очень ко мне привязался, возможно, потому что я уговорила отца не заставлять мальчика продолжать учёбу. Егору давались знания, и это позволило старику надеяться, что его младший сын осуществит его несбывшиеся мечты и станет учёным человеком. Старший сын, Герман, огорчил его в этом отношении. Он был мастером на все руки, но ненавидел школу, и отец наконец оставил надежду увидеть, как Герман «получит достойную профессию». Он отослал его в машинный цех, где мальчик вскоре доказал, что ему легче найти подход к самому мудрёному механизму, чем выучить простейший урок. Он стал новым человеком, серьёзным и сосредоточенным. Отец не мог преодолеть разочарования, но всё же надежда умирает последней. Поскольку у Егора хорошо шли дела в школе, отец снова начал грезить дипломами. И снова его планы были расстроены. Мой приезд спас ситуацию. Мои доводы в пользу «нашего малыша» произвели лучшее впечатление, чем аргументы, которыми я в своё время пыталась защитить себя. Егор пошёл работать в ту же мастерскую, что и Герман. Вскоре с мальчиком произошли радикальные перемены: он помешался на учёбе. Жизнь рабочего и корзинка с обедом, которыми он так восторгался, потеряли своё очарование. Мастерская, со своим шумом и грубостью, стала ему отвратительна. Сейчас он стремился читать и учиться. Соприкосновение с убогой участью рабочих сблизило нас с Егором. «Ты стала моей героиней, — писал он, — ты была в тюрьме, ты с народом и разделяешь стремления молодёжи». Он добавил, что я пойму его пробуждение; все его надежды теперь сосредоточились на мне, ведь только я могла бы уговорить отца разрешить ему поехать в Нью-Йорк. Он хотел учиться. Но, как ни странно, отец не соглашался. Он заявил, что потерял веру в этого ненадёжного парня. Кроме того, деньги, которые зарабатывал Егор, были нужны в доме, потому что здоровье отца ухудшалось и он не мог больше работать. Потребовались дни уговоров и моё предложение взять Егора к нам домой в Нью-Йорке, чтобы отец сдался. Егор мечтал, и его мечта почти сбылась, поэтому я получила его сильную симпатию.

На этот раз мой визит в Рочестер оказался первым безоблачным пребыванием с семьёй. Я получила новый опыт, будучи принятой с теплотой и любовью людьми, которые всегда были для меня чужими. Моя дорогая сестра Елена и две молодые жизни, которым я была нужна, помогли более тесному общению с моими родителями.

По дороге в Нью-Йорк я много думала о наших частых разговорах с Эдом о поступлении в медицинский колледж. Я мечтала об этом, ещё когда жила в Кёнигсберге, а учёба в Вене снова пробудила это желание. Эд с радостью ухватился за эту мысль, уверяя, что вскоре сможет оплачивать мою учёбу. Приготовления к переезду Егора к нам в Нью-Йорк, конечно, отсрочат осуществление моей мечты стать доктором. Я также боялась, что Эд выступит против нового препятствия и ему не понравится присутствие моего брата в доме. Конечно, я не стала бы давить на Эда в этом случае.

Эд оказался в прекрасной форме и хорошем настроении. Наша маленькая квартира выглядела празднично, так как мой любимый всегда украшал её к моему приезду. Эд отнюдь не возражал против моих планов насчёт Егора, он сразу согласился его принять:

